

Каган Виктор Кусиэлевич

1920 – 2019

инженер



1920. — Родился в г. Смоленске.

1937-1941. — Студент Ленинградского индустриального института (ЛИИ).

1941, лето. — Мобилизация в армию с началом Великой Отечественной войны в качестве рядового 3-й роты 1-го полка 3-й дивизии Ленинградской армии народного ополчения. Получение тяжелых ожогов в горящем танке.

1941, сентябрь. — Увольнение в запас в связи с тяжелым ранением.

1942-1945. — Работа инженером на заводе № 402 (г. Молотовск, ныне Нолинск).

1943. — Окончание экстерном физико-математического факультета ЛГУ, который был тогда в эвакуации в Казани.

1945, 11 февраля. — Арест. Приговор Военного трибунала войск НКВД Архангельской области: 10 лет ИТЛ по ст. 58-10 ч. 2.

Отбывание наказания в Талаге.

1946, лето. — Этапирование через Бутырскую тюрьму в Особое конструкторское бюро (ОКБ)-172 («Кресты»). Работа в расчетной группе – проектирование артиллерийских систем (механизмы наведения, приводы).

1951, конец. — «Списание на корпус» (в общую тюрьму).

1952, 12 (14) июля. — Вторичное осуждение Ленинградским городским судом (10 лет ИТЛ, ст. 58-10). Отправление этапом в Красноярск.

1953. — Направление по спецнаряду в Ленинград на Металлострой (специальное техническое бюро (СТБ) Ленинградского филиала института Гипрониислюда МВД СССР).

1955, 13 августа. — Освобождение.

1955-1959. — Работа старшим научным сотрудником в НИИБуммаш.

1959-1961. — Старший инженер по ремонту технологического оборудования.

1961-1975. — Работа старшим научным сотрудником Ленинградского института охраны труда.

1975. — Эмиграция в Израиль.

2019. — Каган Виктор Кусиэлевич скончался в Иерусалиме.

Повесть о безвременье



Виктор Каган

Иерусалим: Центр еврейского образования "Маханаим", 2007

333 с.
Повесть о безвременье
Приложение: письмо Виктора Кагана Доре Штурман по поводу
"Повести"
Бенедикт Сарнов. Виктор Каган и его книга [12]
Примечания

Повесть о безвременье

Нам ни к чему сюжеты и интриги.
В. Высоцкий.
Мы сразу пишем жизнь на чистовик.
В нем все поступки, мысли и желанья,
И их нельзя, как кое-что из книг,
Пустить вторым, исправленным изданием.
Июнь 1953, поселок Туим Ширинского района Красноярского края

Здесь нет ничего выдуманного. Все так и было на самом деле, все стихи и имена настоящие, а прямая речь - это фразы, которые были действительно произнесены в свое время и запомнились, вероятно, уже до конца жизни.

Думаю, стихи заслуживают внимания как человеческий документ хотя бы уже по одному тому, что разные люди при разных обстоятельствах подхватили их и хранили в памяти десятки лет. А факты из жизни, о которых я свидетельствую, и подавно заслуживают, чтобы о них рассказать.

1

^[1] Им тогда посчастливилось освободиться, но потом один из них снова попал в лагерь. В 1965 году он записал стихи, заученные со слов заключенного, который, однако, не был их автором. Стихи показывали Андрею Синявскому и Льву Копелеву, но и те не сумели определить, кто мог их написать. Список переправили в Израиль. Думали, что автор - неизвестный поэт, погибший в лагерях возле Белого моря. Но вдруг все разъяснилось самым неожиданным образом.

Я начну со стихов, чтобы читатель познакомился с ними безо всякого предубеждения, а потом расскажу, откуда они появились и кто были авторы.

**Для чего писал ты в это время?
- Спросит он, спокойствие храня.
Я отвечу: - Это ваше племя
С удивленьем смотрит на меня.
От моих товарищей осталось
Лишь воспоминание одно.**

***И добавлю: - Написал я малость.
Лишь немногим многое дано.
У меня, да и у вас, в почете
Слов академическая статья.
Даже если только вы прочтете
Значит тоже стоило писать.***

Москва.

Задетая тенью стального крыла
Москва - колыбель моего ремесла.
Вечерний напев переулков арбатных
И капля земного тепла на двоих
Родное, разбитое бомбами имя...
Кремлевское правобережье. Вода
По азбуке первым шагам научила,
В трех тюрьмах от света меня хоронила

К Тане^[2]

Верная сторонница моя?
Мир багровым светом озарен.
Может быть, Кисельный переулок
Лишь одно движение в человеке
Станем непригодными в основе,
"Зубром" никого не покорим,
Срежемся на непонятном слове,
Как на мелкой краже погорим,
И не опрокинем допьяна...
Где ж ты нынче, Танечка-Татьяна,

Когда вырастут дети, такие большие, как мы.
Сколько диких прошло, подымалось и падало вниз,
Чтоб из первых потуг, из пародии на человека
Что ж, сотрем письма, теплоходы утопим в Ламанше,

Гольцер, мальчик небогатый
С улицы варшавской,
Лектор без уловок.
Только сыплются осколки
От бомбардировок.
Ты послушался советов,
И подался до Советов
К университету...

Гольцер, Гольцер, мальчуган,
Рассудивший просто...
Износившийся реглан,
Лапти из бересты...
Сколько надо книг пройти,
Чтоб суметь в России
В трюме смерть свою найти
От дизентерии.

О, пане Новаковский,
Теперь вы, "пане дейку",
Согнулись у костра.
Бывало, на недельку
Карман ваш не в обиде
И куфель ваш налит:
Не забывали жиди
Про панский аппетит.
Служили в криминале,
Как ксендз у алтаря.
Заблудших направляли,
По-свойски говоря.
Господь запомнил ваши
Угодные дела.
За них, "добродеяже",
Амнистия пришла.

Правый берег

Снег покраснел и стал похож на торт.
Стучал копер тюремную каретой.
Мы строили необычайный город,
Где улицы, как тундра широки,
Рос новый док, стеклянный и бетонный,
Сквозь разницу неволи и свободы -
Топили печи, мерзли, пухли, жгли,
Рожали сыновей, в бессмертье перли
На правом берегу стоит все та же свая,
Одну за все проклинали наугад.
И этот символ истины бесплодной,
Став противоположностью своей,
Стоит один, как этот док холодный,

Мейерхольдам

Оправка, баланда, параша.
Еще называли по имени театра.
Сраженный открытой строкой без прикрас,
Укрыться в партере от школьного дня
И переживал, обнаженно завидуя.
Что, стукнувшись лбами, не подал бы виду я.
Как сердцебиенье большого поэта,
Вас люди называли чужими себе,
Но время приходит в движение.
Приходит расплата: за горечь побед
Чудовищное поражение.
Разыщут ли завтра? Велик интервал,
Так непохожие края
Одна сковала паутина.
Столица Иерусалим,
Под небом, шапкой непокрытым.
Такой запомнится она
Под гусеницей полководца.
Ее зазубрят наизусть
Пока я слов моих страшусь,
Как выстрела беглец боится.

Сонет 2

До полного земного совершенства
Нам оставалось несколько шагов.
Казалось миг - и вечное блаженство
Нас ждет среди кисельных берегов.
И все еще больной от увлечения
Как одержимый двигался вперед.
Но вот, хлебнувши горя за двоих,
Стоит он, растопылив жалко руки,
И, дикий, вновь за щепку бьется лбом,

Сонет 4

Чтоб время шло, не утомляя нас.
И вот, устав творить от века к веку,
Покорный вдохновенью своему,
И землю во владенье дал ему.
Как висельник в затянутой петле,
И жизнь из Богом найденного смысла
А мир, не изменившийся от века,
Навеки стал тюрьмой для человека.

* * *

Летом бревна таскай на плечах,
Строй дома, чтобы завтра их впрах
Разбомбили.

Видно, Бог для того, нас любя,

* * *

Вся жизнь в конце концов сплошное ожиданье:
Дождлся одного - уже другого жди.
Так в детстве ждешь кино, а в юности - свиданья.
До самой смерти ждешь чего-то впереди.
Рождайся и живи для каторжной работы.
Война, тюрьма, закон - как призраки в пути
Десятки лет как дань берут без счета,
А ты за счастья миг всей жизнью заплати.
Так жди, и жди, и жди и получи за это
Возможность умереть, прождав полсотни лет.
Нет, счастлив и не тот, кто кончил счет со светом,

Все пройдет и останется только
Если люди и строки не те?
Ни во что уже больше не верю.
Все неправда, все пепел и дым.
Отчего не пришлось мне, как зверю,

ГИХЛом^[3] не изданный,
Крутится мельница,
Все перемелется,
Крутится, вертится,
Все перетерпится,
Станет избитое,

Талейранам

Опять министры талейранят
Надменным взором вас таранит
Князь Талейран де Перигор.
Попробуй - не в ущерб престижу -
Так умно изменять Парижу,
Крах ослепительных имен,
Сумей продать Наполеона,
Пока велик Наполеон.
Которая б за год-другой
В сто крат сильнее оказалась

Того, кто продан был тобой.
Сумей - не для величья трона,
А для спасенья своего -
Так реставрировать Бурбона,
Чтоб свергнуть во-время его.
Не беспокоясь о морали,
Живи беспечней королей,
Чтоб через сотню лет сказали
О гениальности твоей.

Фуше

Еще неведомых событий
Но этот прозорливец выйдет
Друзей - друзьям народа кинет,
Пойдет тенденции вразрез -
Он бросит тех, кому охота
Он будет ждать в тени мансарды
Пока судьба стасует карты
Не появляясь вновь на сцене,
Затянет тех, кого мы ценим
Как главных действующих лиц.
Наполеона покушенья
Скуют надежнее цепей,
Бурбона - призрак повторенья
Неповторимой сотни дней.
Доносов тайная ограда
Ему под старость принесет
Отставку вместо каземата,
Других послав на эшафот.
Его проклясть не смогут стоны
Им оклеветанных людей.
Его прославят эпигоны
Просто бездарностью своей.
И в век новейших демократий
За год-другой идя ко дну,
Министры в современных платьях
Уступят первенство ему.

* * *

Я видел когда-то
Чубатого ката,
Который на плахе как в церкви служил.
Я видел Россию -

Слепую стихию
Под задницей медной тупых заправил.
Не мытом, так катом,
Малютиным братом,
Десятым коленом царевых псарей.
Не войн круговертью -
Так медленной смертью,
Не вредом - так пользой замучат своей.

Нас учили уму поколенья
От Олега, Ивана, Петра
Погибать за химеры в сраженьях
Под разбойничий свист на дорогах,
Мы долбили азы на уроках
У заплечных честных мастеров.
Нас учили кнутом и обманом
Продавать за полушку друзей,
Славословить оковы и ямы
И теперь мы пришли к идеалу:
Восемьсот миллионов людей
Правда тюрем, штыков, лагерей.
За свободой в неволю идти.

Европа завидует этой судьбе,
Америке хочется тоже.
Мы сами могилу копали себе,

2

Юрий Маркович Грачевский родился в 1919 году. Он говорил, что на таком расстоянии от семнадцатого это уже много, и потому он значительно старше меня. С точки зрения жизненного опыта это отчасти так и было, но отнюдь не из-за разницы в возрасте.

Отец ушел из семьи, когда Юрию еще не было четырех лет. Мать многие годы работала стенографисткой в "Известиях". Стихи

И жажда новостей,
В лирическом бреду,

были написаны много позже двенадцати лет. Разумеется, тут не без домысла. Не похоже, чтобы в число взрослых входила даже мать, не говоря уже о благонамеренных и благополучных родителях поэта Анисима Кронгауза, друга Грачевского, которые восемь лет спустя были у него на суде свидетелями защиты. Но водка все же была, была и

Девчонок городских,

и сами девчонки. Была и жажда новостей - от нее появилась в тринадцать лет дневниковая запись, что Сталин одно время защищал Зиновьева и Каменева против Троцкого ("Мы не позволим набрасывать тень на тт. Зиновьева и Каменева, будто они колебались в вопросе о вооруженном восстании"). Были и стихи - не знаю, насколько серьезные.

Грачевский рассказывал, что был принят в литературный институт при союзе писателей и там учился у П. Антокольского. В 1944 году, приехав в Москву в командировку, я по его просьбе позвонил Антокольскому. Тот без малейшей запинки ответил, что не помнит такого ученика. Но Грачевский был тогда репрессированным, а Антокольский, был, я с

* * *

В 1939 г. Грачевского арестовали. Внутренняя тюрьма на Лубянке, потом Московский городской суд. Материал обвинения - вещественное доказательство - дневник с той самой записью семилетней давности о Сталине. Главный свидетель обвинения - некто Виктор Попов, чью фотографию с дружественной надписью, сделанной старательным детским почерком, я видел у Грачевского. Откуда вражда? Может быть из-за девчонки? Не знаю. Грачевский никогда никому не рассказывал о своем деле. Но копии приговоров и решения Верховного суда он мне показал. Московский городской суд отважился вынести оправдательный приговор, и Грачевского тут же освободили из-под стражи. Приговор был мотивирован не отсутствием состава преступления, как должно было бы быть по закону, а внутренним убеждением судьи: нет нужды осуждать 20-летнего парня за то, что натворил 13-летний мальчуган. Но "внутреннее убеждение" судьи ничего не стоило, если исходило не из наркомата внутренних дел. По протесту прокурора Верховный суд отменил приговор, указав, что малолетство в момент совершения преступления (даже по истечении семилетнего срока!) можно считать не более, чем смягчающим обстоятельством. Весной 1940 года, проведя примерно десять месяцев на воле, Грачевский был осужден другим составом городского суда на 3 года лагерей и прямо из зала суда отправлен в тюрьму.

* * *

Сразу после первого суда Грачевский уехал в дом отдыха под Москвой. Там он встретил Тамару Андриевич, которая стала его женой. В ожидании второго суда он жил в ее маленькой комнате ("планета в четырнадцать метров квадратных") и тогда же написал рассказы, которые, по его словам, привели в восторг Паустовского ("Послушайте, да вы же мастер, - и так говорил минут двадцать"). Когда он прочитал их мне, я был потрясен примерно так же, как впоследствии при первом чтении "Убийц" Хемингуэя. Их содержание - воспоминание героя о пребывании в тюрьме, настроение - ощущение иллюзорности своего теперешнего пребывания на воле. Действие происходит словно во сне: человек бессилен и даже не пытается сопротивляться. Но, не говоря уже о том, что жизнь в Молотовске (ныне Северодвинске), где я познакомился с Грачевским, и наши с ним разговоры подготовили меня

к столь острому восприятию таких рассказов, я тогда еще не читал ни Хемингуэя, в манере которого они написаны, ни "Рассказа о семи повешенных", откуда заимствован прием создания психологической атмосферы. В рассказе Леонида Андреева мы видим людей, которых схватили, осудили и повесили, но не видим тех, кто хватал, судил и вешал. Такой прием создает у читателя ощущение, будто живым людям противостоит неодушевленная машина, и только отдельные детали, словно выхваченные из тьмы лучом света (упавший в обморок министр, бросивший винтовку солдат), показывают, что на самом деле машина тоже из человеческого материала и притом куда менее добротного, чем пятеро террористов. В рассказах Грачевского есть только герой и еще один-два персонажа, неспособных его понимать. Почему и как герой попал в тюрьму (в отличие от "за что?" этот вопрос всегда имел смысл) - неизвестно, как неизвестно, за что преследуют свою жертву хемингуэевские убийцы. Тюрьма в сущности символическая и потому менее страшна, чем настоящая. "Пугает, а мне не страшно" - эти слова Льва Толстого о рассказе Л. Андреева можно сказать здесь с еще большим основанием. И я теперь сомневаюсь, что Паустовский, который, надо думать, читал и Хемингуэя, и Андреева и имел некоторое представление о тюрьме, принял рассказы так восторженно, как это

* * *

Грачевский очутился в лагерях под Архангельском. Он рассказывал, что все время был на общих работах. Был в бригаде поляков - пленных или бежавших от немцев через советскую границу. "Гольцер, мальчик небогатый" и "пане Новаковский, урядник волостной" списаны с натуры. Кажется, даже не изменены фамилии. 15 поляков пытались бежать из лагеря и были все перебиты. Выжившие были потом амнистированы и ушли с армией Андерса.

Как-то Грачевский сказал мне вскользь, что был в лагерном следственном изоляторе. Выглядело это так, что его и некоторых других политических хотели уничтожить и для этого пытались завести на них новое дело. Такое вообще бывало, но тогда могло спасти только исключительное стечение обстоятельств, вроде того, как случилось на Колыме, где группа инженеров была реабилитирована в конце 1941 года. Грачевский же не только благополучно выбрался из под следствия, но, освобожденный по окончании срока в конце 1943 года, не был оставлен при лагере, а приехал в Молотовск, где прежде эком работал на строительстве, и был принят на крупный судостроительный завод на должность инженера конструктора. Теперь-то я наученный, знаю и про директиву прокуратуры СССР №185^[4], и про многое другое. А тогда еще только-только перестал быть хунвейбином^[5]. Ничто не настораживало меня против Грачевского. Я ему только сочувствовал, тем более, что мой отец в 1937 г. пропал без вести (это называлось "осужден на 10 лет без права переписки" и означало, как теперь известно, - убит в одном из сталинских застенков).

Я работал на том же заводе. Весной 1943 года мы встретились по работе, познакомились, подружились. Наши отношения стали еще более близкими, когда после долгих хлопот и переживаний он дождался приезда Тамары с их трехлетним сыном, родившимся,

кажется, уже в отсутствие отца. Наша дружба в промежутке между концом его отсидки и начало

* * *

Молотовск - маленький "необычайный город" - был приложением к большому судостроительному заводу. Его и строить-то начали в 1936 году на этом болоте потому, что решено было построить завод. Строили, конечно, заключенные. Отгрохали цеха и большой эллинг - "родильный дом линейных кораблей",- в котором линкор, начатый еще до войны в Ленинграде, должны были достраивать, но так и не достроили и порезали автогеном. Построили коттеджи, в которых жили большие начальники и работники американского консульства, и постепенно строили кирпичные дома, в которые начальники поменьше вселялись по специальному разрешению директора завода. А весь город был из просторно расставленных стандартных двухэтажных деревянных домов на сваях. К домам шли прямо по поверхности земли трубы теплоцентрали от завода и от центральной котельной. Для заготовки дров на заводскую лесобиржу в помощь постоянным работникам отправляли людей с завода. Но в начале зимы 1943/44 годов котельная оказалась без дров, трубы центрального отопления начали лопаться, в комнатах стали ставить сделанные тут же на заводе буржуйки и выводить дымовые трубы в форточки.

Чтоб зимой не топили...

на рынке.

...А по городу ходили под конвоем колонны оборванных заключенных, и видели их не только дипломаты, работники консульства, но и простые моряки с кораблей, возивших материалы и продукты - помощь по лендлизу. Видели они многое, но что смогли понять?

* * *

Тамара была художником-графиком. Никакой работы, близкой ей по специальности или хотя бы по духу, в Молотовске в то время не было. Она так и не пошла работать. Родился второй сын. Семья Грачевских оказалась в тяжелом положении. Я помогал им чем и как мог, поддерживал материально. Но главной их бедой были ссоры, все более частые и ожесточенные, которые начались почти сразу, когда они съехались.

Грачевский был очень увлечен Тамарой. Ему импонировало и то, что до встречи с ним у нее была бурная личная жизнь, и даже то, что она была на семь лет его старше. Помню его рассуждение в этой связи о верности. Он говорил, что встретив в жизни настоящее, сам не захочешь смотреть ни на что другое, как ему не хочется смотреть на других женщин после встречи с Тамарой, - и он убежден, что верность в этом смысле существует. И тут же добавлял, что никакой другой верности не признает и что захоти он связаться с другой женщиной - сделал бы это не задумываясь и без малейших угрызений совести. Такие же представления о верности были у Кармен, но ни Мериме, ни Бизе не пытались сделать ее матерью семейства. Любовниц у Грачевского в то время не было, но от семейных обязанностей,

которых требовал быт, он отлынивал, как только мог. Идея долга, мысль о каких-то взаимных обязанностях людей друг перед другом были ему чужды и противны. Он любил заявлять себя изверившимся во всем и всех, любил повторять, что "от людей можно ожидать всего, даже порядочности". Однажды сказал мне вполне серьезно:

- Знаете, если бы я узнал, что человек сделал подлость, никогда бы не стал удивляться. И узнав, например, что вы на меня донесли, я бы тоже ничуть не удивился^[6].

Но продолжал читать мне свои стихи и рассказывать вещи, за которые в те времена поплатился бы очень дорого, если бы я и в самом деле на него донес. Например, довольно точно пересказал текст зашифрованной телеграммы Сталина о применении пыток к политическим, ставшей потом широко известной из доклада Хрущева на XX съезде партии. Он же рассказал мне о выступлении Щербакова на пленуме ЦК в 1943 году, положившем начало государственному антисемитизму в СССР.

Помню, я как-то сказал ему наполовину в шутку:

- А вы все-таки блядь.

Он вдруг взглянул на меня серьезно:

- А вы не блядь. Во всяком случае, вы наименее блядь из всех людей, кого я встречал. Но это не похвала. Это хорошо для тех, кто имеет с вами дело, а для вас самого это плохо.

Он был вполне от мира сего, изворотливый и находчивый. Однажды на полчаса проспал на работу. Скрыть опоздание невозможно. Идти в поликлинику бесполезно: выдать фиктивную справку врач не рискнет. Опоздание на 20 минут и более автоматически влечет "б - 25" - судебный приговор за прогул - сокращение на 25% зарплаты и дневного хлебного пайка в течение 6 месяцев. И все же он не растерялся. Не побежал на завод, как сделал бы почти каждый на его месте, а пошел в милицию и там заявил, будто, вернувшись домой накануне поздно ночью, обнаружил, что его обокрали. Составили протокол. В результате он опоздал на работу не на какие-то минуты, а часа на три - и представил справку, что был в милиции. И, понятно, не имел ни малейших неприятностей.

Но этот непотопляемый, казалось бы, человек совершенно потерял лицо, когда ему пришлось изо дня в день "биться лбом за кусок и позверьи страшиться зимы". Имморализм не может дать действительной опоры для духа. Биография Ницше, с которой я познакомился много позднее, окончательно убедила меня, что позу "по ту сторону добра и зла" может сохранять лишь "сверхчеловек", живущий в условиях мещанского благополучия и комфорта, созданных для него простыми смертными. И годится эта поза только - пока дело не доходит до дела - для разговоров в гостиной, чтобы шокировать других таких же благополучных мещан, да поражать воображение тех, кто не испытал реальных трудностей реальной жизни.

* * *

В 1945 году настала моя очередь: мне дали стандартный срок 10 лет. Я попал в ту самую Талагу, где был упомянутый с моих слов в

"Архипелаге ГУЛаг" плановый выпуск мебели на базе аварийной древесины - бревен отбившихся при сплаве. Помню совещания, на которых золотопогонные начальники решали, сколько аварийной древесины нужно заготовить на следующий месяц. Чем не модель всего ГУЛага, который обеспечивал плановое производство в целых отраслях хозяйства всей страны на базе "аварийной" рабочей силы? Да и методы заготовки были вполне аналогичны...

Грачевский тоже сидел в Талаге часть срока. Его там не помнил никто, но многие помнили Редельмана, его сокамерника по следственному изолятору. Редельман работал заведующимгончарным цехом (не начальником: начальниками могли называться только вольные). Одно время пошло много брака, и его заподозрили во вредительстве. Это был редкий случай, когда следствие затеяли, чтобы узнать об истинном положении, а не чтобы сфабриковать дело. Поэтому Редельман смог спастись. Начальству не грозили неприятности за то, что зэка подержали в изоляторе, показания свидетелей были в его пользу - и следствие прекратили.

Что же произошло тогда с Грачевским? Почему не сохранилась память о его счастливо окончившемся деле? Как могло случиться, что ни сам он, ни свидетели никому ничего не рассказали? Разве что свидетели показали против Грачевского и боялись прослыть стукачами, а его оперчасть отпустила за обязательство стать стукачом? Гораздо вероятнее, что свидетелей по делу Грачевского вообще не было и, значит, не было и самого дела. Но тогда почему он очутился в одной камере с Редельманом? Я помнил рассказ Грачевского, как он тогда пытался заговаривать с Редельманом на политические темы, но тот держался непробиваемым ортодоксом. Выходит, Грачевского просто использовали как "наседку"?

И еще: почему он хотел хранить у себя переписанные мною безобидные лирические стихи, которые обещал мне отдать, когда я уеду из Молотовска? Директор завода согласился меня отпустить, мой отъезд в Ленинград был предрешен, это был вопрос нескольких месяцев. Какое же значение имела для Грачевского отсрочка в передаче рукописи? Знал, что мне не дадут уехать? Но если он предполагал, что меня посадят (зная мой образ мыслей и общительность, это вполне можно было предполагать), то почему не боялся держать у себя не только эти, но и другие рукописи, далеко не столь безобидные по тем временам? Ожидал от меня "даже порядочности"? Но он не верил, что возможно сопротивляться следствию, не раз говорил мне:

-

Да и какое значение могло иметь, как я поведу себя на следствии, если наши дружеские отношения были всем известны? Значит, у него были основания считать себя в безопа

И, наконец, самое простое: почему его не допрашивали как свидетеля по моему делу?

Патер Браун без сомнения счел бы все это более, чем достаточным доказательством, но я тогда еще не читал Честертона и, главное, уж очень не хотел думать о Грачевском плохо. Но "иллюзии гибнут, а факты остаются". В 1959 году я встретился в Москве с его - уже

бывшей - женой Тамарой Андриевич, и она не только подтвердила мои худшие подозрения, но рассказала еще и о других жертвах доносов Грачевского. Тетка Тамары была арестована, и на следствии ей, как потом выяснилось, были инкриминированы высказывания, сделанные в его присутствии. Некто Марлен, которому Грачевский в присутствии Тамары читал свои стихи "и вообще разговаривал так, как, бывало, разговаривал только с вами", пришел к ней после долгого перерыва и рассказал, что был осужден по доносу Грачевского и в лагере встретил еще нескольких его "крестников". Встретив Грачевского в компании знакомых, Марлен ударил его по лицу. Их разняли. Марлен объяснил, в чем дело. Объяснение Грачевского, заявившего, будто Марлен - бывший любовник Тамары, было воспринято, как неуклюжее вывирание застигнутого врасплох: естественно, чтобы в таком случае инициатором скандала был оскорбленный муж.

Когда я рассказал про встречу с Тамарой моей матери, она высказала твердое убеждение, что Грачевский был виновником моего ареста. Моя мать рассказала, что всякий раз, когда она до отъезда из Молотовска виделась с Грачевским, он не только не пытался морально ее поддержать, но, напротив, словно стремился убить всякую надежду, так что после каждого разговора с ним она чувствовала себя вконец разбитой и расстроенной.

Что толкало его вести себя так с пожилой женщиной? Из всех, с кем Грачевские общались в период нашего знакомства, я был принят у них, как самый близкий, даже более близкий, чем сестра Тамары и ее семья. И от Тамары я не раз слышал, да и сам чувствовал, что Грачевский дорожил моей дружбой и по-своему меня даже любил. Возможно, доносить на меня ему было тяжело и сделал он это не по своей воле, а по велению своих хозяев. По словам Тамары, он даже изобразил это потом в пьесе, и в ней было разбросано множество намеков, которые только мы трое могли бы понимать до конца. Хозяев своих он, конечно, ненавидел - это видно и по его стихам, - но не мог побороть страха перед ними и выйти из повиновения. Бессильный вырваться из круга лжи и ненависти, в котором жил, он готов был ненавидеть всех, кто жил иначе. И когда я перестал быть для него отдушиной, он возненавидел меня тем сильнее, что по свойству психологии людей такого рода меня же и считал виновником того, что хозяева заставили его меня предать.

Эта часть рассказа затянулась, но я был обязан изложить все факты и доводы, на которых основываю обвинение в стукачестве реально существующего живого человека. Исчерпывающих доказательств не бывает, любая аргументация завершается заключением, в котором волевой элемент неизбежен. Читатель может толковать факты иначе, но не может иметь ко мне претензий: я ничего не выдумал, не утаил и не выставил ни одного довода, в силу которого не верил бы сам.

* * *

Одно из эссе, составляющих повесть Василия Гроссмана "Все течет..." посвящено стукачам. Повторяя словно рефрен "не спешите

бросать в него камень", автор рассуждает, какие причины вынуждали или побуждали людей разного типа стать стукачами. Естественен вопрос: а каковы были возможности **не** стать стукачом вопреки этим причинам?

В начале тридцатых годов стукачей вербовали особо среди интеллигентов старшего поколения. Метод был прост: человека арестовывали, предъявляли ему достаточно грозное обвинение (чаще всего в шпионаже) и предлагали выбор: либо он дает подписку быть сексотом (секретным сотрудником), либо делу дадут "законный ход".

В 1933 г. так взяли моего отца. Он упорствовал. Тогда взяли мою мать. Узнав об этом, отец дал подписку, и обоих немедленно освободили. Через несколько месяцев отца вызвали и напомнили о подписке. Он ответил, что не считает себя связанным обязательствами, которые вымогаются такими методами. Его оставили в покое и не трогали до 1937 г, когда началась очередная широкая кампания. Видимо, освобождение означало прекращение дела и его нельзя было просто схватить: требовалось вновь запускать громоздкую бюрократическую машину. Некоторое представление об этом дают слова Хрущева из речи в горьком перед партийцами, прижизненно реабилитированными по "ленинградскому делу":

- Мы знаем, кого наказать, и сами накажем. Но если привлекать всех, из-за кого вы пострадали, то пришлось бы засадить еще много больше, чем вас там было.

Когда виновных слишком много, они все остаются безнаказанными. /Макьявелли/.

Если бы отец послушался матери и немедленно уехал в другую область подальше, он бы, возможно, спасся, и жизнь нашей семьи сложилась бы иначе. Он настолько плохо знал природу советского режима, что, отпущенный, считал свое положение безопасным. Но твердых моральных принципов оказалось достаточно, чтобы не дать затянуть себя в болото...

* * *

Здесь я должен сделать отступление, чтобы немного рассказать об отце.

Он родился в 1880 г. в еврейском местечке. Дед мог отправить в гимназию только одного из пяти его братьев (о ком-либо из трех сестер не было и речи), и отец сдал курс гимназии экстерном, зарабатывая себе на жизнь репетиторством. Поступить в университет в России он не мог. Хотя тогда не было расовой дискриминации евреев, как теперь, но была дискриминация инаковерующих: церковь не была отделена от государства (теперь от него не отделена партия и преследуют инакомыслящих). Но для выезда за границу было достаточно подать прошение генерал-губернатору, оплатив гербовый сбор. Отец поехал в Швейцарию, прослушал там курс медицинского факультета, а потом сдал экзамены в Харьковском университете, где ему присвоили звание лекаря и выдали врачебный диплом.

В губернском городе, где мы жили, его знал чуть ли не каждый встречный. Письма с адресом "Смоленск, д - ру Кагану" доходили без

малейшей задержки. Сестра попросила в магазине оставить для нее детскую ванночку пока она сбегает домой за деньгами. Продавщица сказала:

- Вы же дочь доктора Кагана. Забирайте ванночку, а деньги принесете потом.

Известно, как все были запуганы и шарахались от семей репрессированных. Но один сослуживец отца в 1933 году носил ему в тюрьму передачу, а двое других, когда он пропал без вести, заходили спрашивать о нем.

Разумеется, отца пытались вовлечь в партию, и, разумеется, безуспешно. Моим политическим воспитанием он не занимался (видимо, считал, что "детскую душу грешно возмущать"), но когда я спросил, почему он не идет в партию, ответил, что у него с большевиками принципиальное разногласие: он противник смертной казни. Я стал цитировать Горького ("Если враг не сдается, то его уничтожают"). Отец сказал:

- Эта статья очень уронила Горького в моих глазах. У государства достаточно сил и средств, чтобы обезвредить любого человека без того, чтобы его убивать. И большевики всегда выступали против смертной казни, пока сами не добрались до власти.

Я сослался на доктора С, который поступает в партию. Он ответил:

- Ну что ж, я и всегда был о нем невысокого мнения.

Отец считал, что арест в 1933 г. ложится пятном не на него, а на тех, кто его безвинно арестовал. Это, конечно, не советская, даже антисоветская психология. Советскому человеку чуждо и недоступно понимание реабилитации как признания вины государства перед гражданином. Секретарь райкома в Ленинграде сказал жене моего друга:

- Что значит реабилитирован? Его тогда правильно осудили, просто теперь установка другая.

Проворовавшийся тюремный надзиратель Лушков, освобожденный по отбытии примерно трети срока, говорил про реабилитированных: "их простили". И точно то же говорил маститый советский писатель В. Кочетов устами "положительных" персонажей романа "Братья Ершовы". Советское правосознание хорошо отражает известный анекдот, как некто "попал в грязную историю: не то он украл шубу, не то у него украли шубу, но что-то с шубой".

Ночью в октябре 1937 г. отца забрали, и мы долго ничего не знали о его судьбе.

В управлении НКВД висело объявление: "Справки об арестованных не выдаются".

В смоленской прокуратуре сестре сказали, что отец осужден на 10 лет без права переписки, отправлен в Дальние лагеря, и мы его никогда больше не увидим. Потом другие чиновники говорили, что по закону такой меры не существует.

Моей матери прокурор сказал:

- За что его осудили, я вам не скажу и приговора тоже не скажу.

Зимой 1941 г. до нас дошел слух из третьих рук, что отца видели в лагере где-то в Кировской (ныне Вятской) области.

В 1956 г. мы получили из Военной коллегии Верховного суда справку о реабилитации, а из смоленского ЗАГСа свидетельство о смерти отца. В свидетельстве написано, будто он умер в 1942 г. от миокардита. В справке сказано, что "постановление НКВД СССР в отношении Кагана К.А. отменено" и что "Каган К.А. реабилитирован посмертно". О содержании постановления в справке ничего не говорится, но слова "реабитирован посмертно" означают на самом деле, что его убили. Нам случайно удалось расшифровать это кодовое обозначение. Отец моей жены погиб в ссылке: утонул, купаясь в реке. Шесть лет спустя он был реабилитирован, но слова "посмертно" в справке не было. Жена просила внести это слово (оно имело значение для ОВИРа), но ей отказали: "Ведь он не был расстрелян". Позднее я узнал, что "10 лет без права переписки" - кодовое обозначение расстрела. А диагнозы в свидетельствах о смерти брались с потолка и даты смерти размазывались по нескольким годам.

Позднее вербовка носила уже более добровольный характер, и прямая позиция в значительной мере предотвращала поползновения такого рода. Находясь в заключении, я никогда не скрывал своего отношения к стукачеству и стукачам. Когда начальник шарашки подполковник Беспалов вызвал меня и предупредил, что по его сведениям я держусь вызывающе и мои слишком откровенные высказывания могут привести ко второй судимости, я ему сказал:

- Вы работаете в этой системе не первый год, но ведь и я сижу не первый день. Ни для вас, ни для меня не секрет, что среди заключенных есть такие, кто пытается добиваться благоволения начальства и строить свое благополучие доносами на товарищей по несчастью. Я ни от кого не скрываю и вам говорю это прямо в лицо, что считаю таких людей последними мерзавцами и подонками. Естественно, они меня ненавидят, и как бы я себя ни вел, все равно будут на меня капать. Если бы капали по работе, я бы мог вам доложить все свои отчеты, и вы бы разобрались, но против таких доносов я беззащитен.

Ответ подполковника был, по-моему, просто классическим:

(На шарашках вертухаи называли эков просто по фамилии, а золотопогонные начальники по имени-отчеству. Мне это всегда напоминало знаменитую фразу тургеневского персонажа: "Насчет Прохора там ... распорядиться").

Примерно через год после этого разговора меня засудили вторично: я был недостаточно осторожен в выборе собеседников. Но за все годы жизни на Архипелаге меня пытались вербовать только однажды, причем я сам по неосторожности дал к этому повод. У меня произошел скандал с вольнонаемным библиотекарем, который не выдал мне находившегося в технической библиотеке тома Пушкина. Рассудив, что "пускай один гад ест другого гада", я подал письменную жалобу на имя начальника шарашки. Меня вызвала оперуполномоченная Окулич, очень любезно со мной беседовала, заверила, что по моей жалобе будут приняты меры, предложила подать заявление, чтобы мне выдали новую верхнюю рубашку ("ваша уже поизносилась") и ... попросила написать объяснение о

существующем порядке выдачи технической литературы и, в частности, иностранных технических журналов. Мы с друзьями сразу решили, что это закидывание крючка. Заодно я передал разговор еще одному зэку, которого подозревали в стукачестве: было бы грешно упустить такую возможность проверить подозрение. Вызванный к оперуполномоченной на следующий день с самого утра, я сказал, что обдумал все дело еще раз и решил никаких объяснений не писать. Окулич сперва пыталась сыграть на моем самолюбии ("что же вы, трусили?"), а потом перешла в прямое наступление:

- Зачем вы разгласили наш разговор среди заключенных? Мало ли о чем с вами могут говорить в оперчасти, так вы будете все заключенным рассказывать?

- Всенепременно и обязательно. Я такой же заключенный, как и они, и никаких секретов с вами от них у меня не может быть и не будет.

И на этом все кончилось. Больше меня никогда не вызывали в оперчасть.

Василий Семенович Гроссман был человеком высокой совести, а среди литераторов это качество встречается гораздо реже, нежели талант. /И. Эренбург. Из речи на гражданской панихиде/.

Так вот, взвесив все "за" и "против", я бросаю камень в Грачевского.

3

В лагере и по выходе из него Грачевский по памяти делал стихи, которые должны были составить единый цикл, названный им "Чужие времена". По-моему они интересны не только как просто хорошие стихи, но и как выражение умонастроения определенной части моих сверстников, сперва ослепленных идеалами и романтикой революции (известными лишь по книжке, да понаслышке, то есть по легендам), а затем разочарованных стремительным перерождением советского строя в красносотенную монархию - ухудшенное даже по форме издание черносотенной монархии, свергнутой в феврале 1917 г.

На взгляды Грачевского, по-видимому, сильно повлиял его отец, точнее, отчасти домисленный его образ. Отец Грачевского одно время работал в Политуправлении Красной армии и был связан с Троцким. Мать мне говорила, что сын никогда не виделся с отцом, но полностью унаследовал его наружность, яркую индивидуальность и характер (типичная фраза: "я ничего не должен"). Сам же Грачевский говорил об отце, как о человеке, хорошо ему знакомом.

Говорил, что отец примыкал к Троцкому, но "отошел от политической деятельности, когда увидел, что с представителями рабочего класса расправляются, как с классовыми врагами" (это вполне правдоподобно).

Говорил, что отец был близок к театру, знаком с Мейерхольдом и тот считался с его мнениями (не берусь судить, правда ли это, но ясно, что отсюда настрой стихов "Мейерхольдам").

Рассказал, что в 1937 г. отец попал в тюрьму (это правда), но писал XVIII съезду, по ходатайству съезда дело пересмотрели и срок снизили до 5 лет (это домысел; он просидел 18 лет).

Понятно, что Грачевскому была близка мысль о перерождении строя. Помню, прочитав газетную передовицу "Новое пополнение рабочего класса" - о выпуске из ремесленных училищ - он обратил мое внимание на то, как изменился взгляд на рабочий класс: это уже не рабочий класс в традиционном понимании марксистов, а просто "рабсила". Он приводил удивительно выпуклый отрывок из услышанного телефонного разговора:

- Товарищ полковник? Поздравляю вас с правительственной! Товарищ полковник, можно у вас машину?...

- и все это заискивающим тоном. Проситель обращается к представителю нового привилегированного класса, который и обличье-то принял старое (золотопогонник-полковник), и лишь слово "товарищ" еще напоминает что-то о революции. Впрочем, и оно стало уже не тем, чем было. Не помню, кто из нас заметил, что это обращение, введенное, чтобы подчеркивать равенство, перешло в свою противоположность в сочетании "товарищ Сталин". В письменной речи это было особенно заметно, так как сокращение не допускалось, и в газетах мы сплошь и рядом встречали "товарищ Сталин и тт. ..." "Товарищ" Сталин был первым среди отнюдь не равных ему.

О Сталине Грачевский говорил словами Барбюса, что "это, быть может, самый неизведанный человек в мире".

Цитировал Писарева - "пробуждение общества начинается с эстетических понятий" - и говорил, что Сталин поэтому очень следит за литературой и резко отличает литературу для народа и для себя.

Приводил рассказ И. Сельвинского о советах Сталина, которые тот давал ему по поводу пьесы о Ленине, советах, свидетельствовавших о вкусе и противоречивших господствовавшим в то время штампам. Вместо мажорного заключительного эпизода (Ленин выходит на балкон и произносит речь) Сталин предложил простую, немного лирическую концовку (Ленин, насвистывая, ходит по комнате).

Сталин казался единственным человеком - злым гением, - который знает и видит свой путь в этом обезумевшем мире, где "все понятия настолько перепутались, что даже прусский кронпринц называет себя революционером" /Г. Димитров/. Он победил всех соперников, из которых, казалось, "каждый по отдельности был сильнее его и пользовался большей популярностью в народе" (слова Грачевского). Напрасны, бессмысленны были все усилия и жертвы: он один сумел "времени остановить разбег", и мы видим, что

Навеки стал тюрьмой для человека^[7]

потому что человечеством движут не высокие идеи, а простой страх.

Сонет 6

Так повелось от века и до века.
Не первый наш и не последний век.

Чем больше бьют и мучат человека,
Тем все подлей и мельче человек.
Из года в год мельчают жизни нормы
И человек мельчает на глазах.
Хотя друг другом правим с давних пор мы,
Но каждым от рожденья правит страх.
Другие - власть боятся потерять,
Испуганный, на смерть идет покорно.

Грачевский написал стихи о Сталине. "Вождь", которого он считал одним из высших своих достижений, представлялся глубоким проникновением в сущность Сталина всем немногим, кто его тогда слышал.

Вождь

Нашим горбом ощущаемый век.
Каждый, кто чудом при нем уцелел.
Каждое слово его и дело,
Если в разрезе чуть старческих глаз
Имя его, как эскиз идеальный
Все подчинивший - землю и недра -

В стихах Грачевского отразилось, чем он хотел бы быть. В жизни он служил тем, кого сам же ненавидел и презирал, в стихах искал самоутверждения и самооправдания. Отсюда образ художника, согнутого и поработанного ничтожными людьми, в чьих руках его насущный хлеб.

Сонет 1

К сегодняшней минуте утвержденья,
Как Микельанджело, подъявший кисть к плафону,
Навек подвластный вашему закону
Случайно с вами встретившись в России,
Я нужен вам, как хлеб мне нужен ныне.

В других стихах мы встречаем лирического героя - свидетеля полного краха своих идеалов. Демонстрация краха - первое публичное исполнение великодержавно-монархичес

15

Нет опоры для духа: бесполезно пытаться разжать тиски времени.
Впереди неминуемая бесславная гибель, и остается лишь утешаться мыслью, что хотя "я несчастнейший рыцарь на земле - Дульцинея прекраснейшая из женщин".

Стареющий под вымпелом прогресса.

"Социализм, при торжестве которого для его строителей нашлось место только за тюремной решеткой" /Ф. Раскольников/, не может не казаться фатальным тупиком истории людям, увидевшим, что к нему с неизбежностью привел тот самый "ленинский путь", лучше которого они ничего не могли себе вообразить. До простой мысли, что "ленинский путь" был и не хорошим, и не единственно возможным мы в то время еще не доросли. У меня тогда возникла мысль, что режим должен пасть в силу законов марксизма, принципам которого он изменил. Марксизм еще долго привлекал меня тем, что доказывает нежизнеспособность советского строя, при котором производственные отношения тормозят развитие производительных сил. Грачевский, кажется, не был склонен к такому оптимизму. Отсутствие моральных устоев лишало его опоры и в личной жизни, а в стихах оно обернулось изображением эпохи безвременья. Он несомненно обладал незаурядным литературным дарованием, и очищающая сила творчества возвысила его стихи над фактами би

Растут стихи ...

/Ахматова/

Каждая строчка - законченный сказ.

И не раскаяться в смертном грехе.

Но судьба насмешница. Ему удалось устроиться сперва "безответственным редактором" - зам. редактора заводской многотиражки, - потом добраться до журналистики. Вначал

Я маленький, ничтожный человек.

[\[8\]](#),

За мясо-рыбу продан я навек.

Но продал и честность, и любовь, и творчество - и даже не за высокое звание. Осталось только имя и отчество, видно не нашлось покупателей. А настоящие стихи отомстили ему, выдав его настоящий характер. Помню, я прочитал "Талейранам" моему лагерному товарищу, московскому писателю Д.М. Стонову. Он сразу сказал, что автор - "человек со всячинкой, от которого можно ожидать всего, чего угодно".

А. Белинков писал, что поэт изображает общество не таким, каким оно хочет себя видеть, а таким, каково оно на самом деле. Изданный Грачевский - автор нескольких рассказов, не замеченных читателями и вскользь обруганных в "Новом мире" - конечно не поэт, а не более, чем среднепреуспевающий член Союза советских писателей. Не знаю, продолжает ли он писать "в стол". Думаю, что если и продолжает, то качество сильно снизилось. Его деятельность сексота стала широко известна, и это должно было отрезать его от общения с такими

читателями какие только и могут быть вдохновителями и потребителями настоящего творчества. Солженицын находился в несравненно более благоприятных условиях, но и то почувствовал необходимость выйти из подполья, чтобы не деградировать как писатель. Грачевский создал себе такое положение, что ему выйти не к кому, да он никогда бы и не отважился на такой риск. Его и раньше удерживал и впредь удержит аморализм, приковавший его к тому самому режиму, которого обличителем он выступал в лучших своих стихах и которому покорно служит как стукач и рядовой советский литератор. Но старые стихи Грачевского для меня живут независимой от него самостоятельной жизнью, я и теперь их люблю, ценю и продолжаю думать, что они были созданы настоящим поэтом, поэтом в том смысле, в каком понимал это слово Белинков. Часть из того, что сумел запомнить, я и поместил в свой рассказ

Сонет 3

Пускай все это временно, но стих

Мы оба восприняли тогда заключительные строки как пророческие. И теперь мне бы хотелось, чтобы пророчество поэта сбылось и обнародование этого рассказа стало данью справедливости и "Чужим временам", и их автору.

4

азывалось (Г. Серебрякова в "Литературной газете") "показать, что советские люди, даже находясь в лагерях в тяжелейших условиях, сохраняли верность партии". Пожалуй, наиболее примечательной была "Повесть о пережитом" Б. Дьякова. Дополняя "Один день" показом лагеря с позиции стукача-придурка, она еще и сообщает кое-какие факты о людях, названных настоящими именами. Те, кто ее прочитал, наверняка запомнили рассказ о литераторе Б. Четверикове. Он тайком пишет поэму, воспевающую Ленина. А оперчасть, узнав, что политический заключенный занялся политической поэзией вместо того, чтобы - в лучшем случае - запереть его в одиночку и выдавать ему бумагу листочками по счету, а потом все листочки отбирать, оберегает его от бандеровцев. Как же этот "свой человек в оперчасти" попал в лагерь? Дело в том, что консервы едят, а банку выбрасывают.

го изделия. Между прочим, в этот кружок входил А. Ванеев, внук Ванеева, сосланного некогда вместе с Лениным. Однажды двое кружковцев случайно обнаружили донос, написанный рукой Четверикова. Прочитав его, они поняли, что это лишь один из серии доносов. Четвериков изображал кружок как подпольную антисоветскую организацию, а себя как лазутчика, проникшего в нее, чтобы осведомлять "органы". Они решили, что единственный способ защиты - встречный донос на Четверикова. Известный рецепт пушкинской

Через десять с лишним лет "в связи со вновь открывшимся обстоятельством, что Б.Д. Четвериков был секретным агентом госбезопасности" дело пересмотрели и кружковцев р

Судьба свела меня с одним из участников этого кружка (наша с ним дружба сохранилась и много лет спустя). Я прочитал ему все, что

помнил из "Чужих времен". Он оценил стихи очень высоко и сделал как бы в дополнение к ним "Фуше" и "Нас учили уму поколенья". Эти вещи помещены в первой главе в конце подборки, рядом со стихами Грачевского "Т

в, и краеугольные камни не замедлили обрушиться на всех, кого посчитали виновными. Среди шести тысяч, схваченных по делу, оказались два 13-летних школьника. И тут в прокуратуре проснулась женщина, мать. Она потребовала, чтобы детей осудили условно, а не приговаривали к лишению свободы. "Независимый" советский суд, который "подчиняется только закону", не посчитался с требованием обвинителя. Она написала кассацию. Отклонили. Обжаловала в Верховный суд. Отказали. Написала в Президиум Верховного с

...Мальчики очутились в колонии для малолеток. Формально это было легче лагеря. Фактически же было много хуже, так как в качестве "воспитателей" и придурков подвизались великовозрастные уголовники и царил полнейший произвол. Вскоре у ребят на работе произошло столкновение с одним из придурков, и вечером банда его помощников явилась чинить расправу. Обычно проштрафившийся покорно выходил на середину, и его избивали подушками до тех пор, пока он, упав, не мог уже встать. Но ребята не подчинились. Уголовники явились, вооруженные гайками на проволоках. Ребята схватили табуретки. Одному из них сломали ребро. Одного из уголовников ударом табуретки свалили на пол, и он больше не подымался. Неравный бой прервало появление солдата-надзирателя, который уселся на табуретку и просидел в камере до подъема. Ребята получили отс

...Прошло шесть лет, и в Челябинске снова появились листовки. Раз есть преступление, должно быть и наказание - неважно, виновного или нет. Схватили нескольких человек и в их числе одного из двух - уже бывших - малолеток. И тот же прокурор потребовала, чтобы парню (уже совершеннолетнему) дали 10 лет. И тот же суд, который... и т.д., на этот р

Мы познакомились в лагере в Хакасии. Он записал стихи с моих слов, выучил их наизусть и сжег запись. Через несколько дней, после однодневной забастовки (прошедшей, впрочем, мирно), из лагеря был отправлен этап на Дальний Восток. Он попал в этот этап, и я потерял его из виду. Осталась в памяти только его история и его четверостишие, которое я взял эпиграфом к рассказу.

й сопроводительной заметкой в редакцию "Время и мы". И тут встретились два списка стихов: мой и сделанный моим хакасским знакомым. По иронии судьбы человек, которому тот передал список, незадолго до своего отъезда в Израиль познакомился с Грачевским, вероятно, подосланным к нему. И ни он не знал, что говорит с автором стихов, ни Грачевский не подозревал, что его собеседник знает его стихи и увозит их за рубеж.

Шекспир писал о падении нравов и о торжестве несправедливости. Он искал прибежища в личной жизни, и не в одном из его сонетов счастье взаимной любви противопоставлено успеху в обществе, где все зависит от прихоти сильных мира. Но Сонет 66 выделяется из остальных своим трагизмом. Любовь здесь не источник счастья, а долг перед любимым человеком, единственное, что еще заставляет держаться за опостылевшую жизнь. Однако такой взгляд означает на самом деле утверждение смысла жизни. Во все времена человек жил не только в обществе, но и в своем микромире, в узком кругу близких людей. И от него самого в значительной мере зависело создать этот микромир таким, чтобы жить в нем стоило и можно было прожить достойно. Именно такая нравственная позиция Шекспира, отчасти перекликающаяся с Экклезиастом, завоевала Сонету 66 то особое место, которое он занимает среди стихов о безвременье.

Когда же, под влиянием работы над Шекспиром, написал свои шесть сонетов. Правда, он рассказывал, что строки

Чем больше бьют и мучат человека,

Тем все подлей и мельче человек

нашел еще в лагере, когда работал на сплаве, но до Сонета 66 они так и оставались заготовкой и в дело не шли. Сонетом 66 я заинтересовался, прочтя "Изгнание" Лиона Фейхтвангера. Глава "Сонет 66" дает о нем более верное представление, чем опубликованные до сих пор русские переводы. Грачевский показал мне переводы О. Румера, Ф. Червинского и Б. Пастернака. Перевод Б. Пастернака, по-моему, и до сих пор остается лучшим из всех опубликованных. Но сопоставив его с оригиналом, мы сошлись во мнениях, что это на самом деле самостоятельный сонет на ту же тему, вполне "пастернаковский", однако по силе существенно уступающий Шекспиру (признаться, я так думаю и сейчас). И Гра

* * *

Бывший участник четвериковского кружка пробовал - довольно-таки безуспешно - учить меня писанию стихов. Я познакомил его с Сонетом 66 и с переводами Пастернака и Грачевского (переводов Румера и Червинского я не помнил). Мы разобрали их, сопоставили с оригиналом и - не устояли против соблазна сделать общими силами новый перевод, который бы соответствовал нашему пониманию сонета.

ескую исповедь измученного жизнью человека. У Шекспира оба эти мотива органически связаны. Первая и две последние строки свидетельствуют, что перед нами лирическая исповедь. Но исповедуется не рефлектирующий, погруженный в самого себя лирик, а поэт с темпераментом пророка, художник, писавший крупными штрихами и яркими красками. Не забудем, что Шекспир был еще и актер, то есть человек, привыкший произносить стихи вслух перед большой аудиторией. И значит прежде всего нужно себе представить, как сонет должен звучать. Первую строку ("Я смерть зову, дающую покой") произносит смертельно усталый человек. Начиная со второй, одиннадцать строк звучат с непрерывно нарастающим гневом, пафосом, достигающим кульминации в 12-й строке. А в последних двух

строках перед нами снова усталый человек, тот, который был в начале. Поэтом

В этом мире добро не только может быть подавлено злом извне, оно может и само приводить ко злу. Вот случай, который мне вспоминается в этой связи. Уголовная ответственность чинов госбезопасности за необоснованный арест, введенная, вероятно, и впрямь с благим намерением заставить их отличать "своих" от "чужих", казалось бы, должна сколько-нибудь гарантировать неприкосновенность личности. Но в 1945 году начальник следственного отдела Архангельского управления госбезопасности майор Романов мн

- Вы ведь культурный человек и понимаете, что репрессировать невиновных не в интересах советской власти. Поэтому я несу персональную ответственность за каждый арест. Если я вас арестовал неправильно, за это посадят меня. А я арестовал сотни людей, так что я, по-вашему, за каждого из них в тюрьму садиться буду? Или вы думаете, что вы лучше остальных? Вы должны понять, что ваше сопротивление

1937 год был позади, и "меры" применялись не подряд, а выборочно. Однако Прокопа Сезоненко, моего соседа по камере, и без "мер" довели до водянки, от которой он умер в тюремной больнице. И к этому тоже привела "персональная ответственность за каждый арест". А осенью 1941 г, когда подошли немцы и в Москве поднялась паника, на Лубянке произошел случай почти фантастический: чиновник, почувствовав себя свободным от персональной ответственности, выпустил сидевшую под следствием девушку. Она и сейчас ж

"Служить" означает в русском языке не только "выполнять определенные обязанности". Этот глагол означает и "быть применяемым", а может еще и указывать на объективный результат действия, не зависящий от намерений того, кто это действие совершает (скажем, служит примером). В сонете Шекспира речь идет о добре, которое именно **служит** злу.

4-я строка ("И веру неизменно ждет плевков") напоминает мне предвоенные годы, когда я и другие такие же хунвейбины искренне верили, будто "нужно держать народ в состоянии мобилизационной боевой готовности" /Сталин/ и мириться с нуждой и отсутствием свобод ввиду предстоящей войны с Германией. Помню, как мы были ошарашены, когда за первые 42 дня войны - время разгрома Франции - было потеряно территорий, населения и солдат больше, чем потеряли французы, жившие все время свободно и в достатке. Выходило, что мы воевали хуже их, хотя наша армия была много сильнее германской, в чем нас заверил Ворошилов с трибуны XVIII съезда партии. "Внезапное нападение", "не успели отмобилизоваться" /Сталин/? Но в Ленинграде за несколько месяцев до войны были две большие внеочередные мобилизации, всех студентов посылали разносить повестки. Не говорю уже, что все те годы мы жили в постоянном ожидании войны, по радио чуть не каждый день пели

Будь сегодня к походу готов.

зали, что завтра, когда будет объявлена подписка на заем, все должны подписаться на полуторамесячный оклад. И не может быть

никаких ссылок на трудное материальное положение, когда люди на фронте головы кладут. И мы поверили, что каждый должен жертвовать последним грошом, и все, как один, подписались. А спустя несколько дней прочитали в газетах о присуждении - в первый раз - сталинских премий^[9] и увидели, что одной только Халиме Насыровой - народной артистке, которая не клала головы на фронте и не нуждалась материально - отвалили 100 000 рублей, в несколько раз больше, чем наскребли со всей нашей центральной заводской лаборатории.

Первые лауреаты положили свои премии в карман^[10]т фонд по сто тысяч рублей (нажитых, понятно, продажей уворованного меда) и телеграфировал об этом "лично товарищу Сталину". "Товарищ" Сталин, который не мог не понимать, откуда могли взяться такие деньги у рядового колхозника, телеграфно же его поблагодарил. Обе телеграммы были напечатаны во всех газетах, и если после того кто и заикнулся, что Ферапонта судить бы надо за кражу колхозного добра, то сам попал под суд как антисоветчик. Можно не сомневаться, что головастый Ферапонт сумел воспользоваться сталинской охранной грамотой и с лихвой возместил себе пожертвованные деньги. Да и Сталин знал, что делал, жалую его этой грамотой. Но Ферапонт рисковал головой, тут была и авантюрная жилка, и масштаб, и смелость, а Сталину довольно было одного цинизма.

6-я строка ("И девушки торгуют красотой") снова напоминает мне о Молотовске. Понятно, что в голодные военные годы там развелось немало охотниц промышлять любовью за наличный расчет. С иностранцами это было много опаснее, но и много выгоднее, и некоторые даже научили детей подходить к ним на улице и произносить по-английски "дядя, иди спать с моей мамой". Но были и другие, искавшие серьезных отношений. И их-то подстерегала трагедия. Некоторые пошли в ЗАГС. Там зарегистрировали брак. А потом корабль ушел, "муж" уплыл, а жену капитан не взял на борт. Я знал молодую женщину, работницу с завода, которая так и осталась у разбитого корыта. А у Веры Куроптевой до ЗАГСа дело не дошло. Американский моряк, с которым она познакомилась в клубе, стал ходить к ней домой, и тогда ее забрали, а заодно забрали и ее отца. С отцом я некоторое время сидел в одной камере во внутренней тюрьме, а ее встретил на пересылке. Ей дали 8 лет по ОСО^[11], дело отца тоже отправили в ОСО. Ходили слухи, будто около двухсот женщин по обвинению в проституции, особенно с иностранцами, сослали на Новую Землю. Многие верили слухам и воспринимали их как должное. С точки зрения советского правосознания это ведь была "измена Родине: половая связь с иностранной державой" (долю правды в этой шутке продемонстрировал Указ 1947 года, запретивший вступать в брак с иностранцами).

тва, опасности откровенного общения с людьми - глупого риска, ничем не оправданного с точки зрения житейского благоразумия. Но следовать этому благоразумию было не легче, чем противостоять его доводам. Изнутри людей разъедал страх, и он нередко продолжал править даже теми, кто открыто, с оружием в руках пошел против советской власти. Помню рассказ Е.И. Дивнича, моего соседа по 71-й камере Бутырки, как двое офицеров-власовцев донесли на немку,

которая пригласила их в гости и включила для них советское радио. Они были уверены, что должны защищаться от провокации, им ни на секунду не пришло в голову, что она могла просто принимать их за порядочных людей, которых не нужно опасаться.

редачи в больницу другому заключенному. В 1952 г. от жены Г.К. Карпова, бывшего второго секретаря Невского райкома Ленинграда, потребовали, чтобы она развелась с осужденным мужем. Она отказалась, и ее исключили из партии "за связь с мужем". Помню комсомольские собрания в Ленинградском политехническом институте в 1937 - 38 гг. "Разбирались" заявления комсомольцев, сообщавших об аресте своих родителей. Решение исключить было известно заранее, но у разбираемого нередко спрашивали, как он относится к аресту. Если он отрекался от арестованного - исключали "за потерю бдительности" (сам вовремя не донес), если не отрекался - за клевету на органы НКВД, которые ведь хорошего человека в тюрьму не посадят. В лучшем случае, если обходилось без таких вопросов, исключали просто "как не заслуживающего политического доверия".

остоянно чувствовал на себе недремлющее око и знал, что от тюрьмы не зарекаются. "Советские граждане делятся на три категории: те, кто сидел, те, кто сидит, и те, кто будет сидеть" /эковский фольклор/. Помню, Грачевский мне как-то сказал, что давно испытывает это чувство обреченности и удушья. Оно отразилось в его рассказах, о которых я здесь писал, оно отчасти просматривается и в стихах. У меня такое чувство появилось в пору дружбы с Грачевским и в немалой степени под его влиянием. Парадоксаль

* * *

Каждую строку Сонета можно развернуть в рассказ о нашей жизни; все, что я здесь написал, тоже можно рассматривать как иллюстрацию к нему. Сонет 66 - уникальная по концентрированности и полноте характеристика мира, в котором мы жили, в котором не стоило бы, да и невозможно было бы жить, если бы не существовали дружба, любовь и верно

Сонет 66

Приложение: письмо Виктора Кагана Доре Штурман по поводу "Повести"

Дорогая Дора!

кой литературе, - тоже "очень хвалили художественное произведение". Но ни она, ни они непосредственно с изданием не связаны и потому могли только давать советы - каковыми все мы обеспечены на много лет вперед. Жаль, конечно, что Ваша попытка не удалась, но удивляться тут не приходится. Вещь многоплановая, сложная, а кажется простой и легко создает иллюзию, будто понятно все, когда на самом деле не понято самое главное. "Художественное произведение имеет несколько смыслов и этим отличается от газетной

статьи, которая имеет только один смысл - если имеет его вообще" /Эткинд - в лекции о переводе поэзии/. Авторское прочтение не единственно возможное и ни для кого не обязательно. Все же Вам, быть может, небезынтересно мое (апостериорное) понимание своей вещи.

"Повесть" начинается со стихов по двум причинам. Первая названа в тексте: не зная автора, мы читаем стихи без предубеждения. Зная о Грачевском, преодолеть его чрезвычайно трудно. Даже покойному Толе Якобсону это было почти не под силу, он мне сам говорил. С другой стороны, "понимать стихи значит уметь мотивированно судить об их качестве, не зная, кто их написал". Вторая причина много глубже. Стихи здесь не только образчики творчества их авторов; они все играют важную роль в разворачивании сюжета, прочерчивая собирательный образ поэта и эпоху. Становление поэта происходит в тюрьме, до этого была "колыбель". Его личная беда совпадает с общей - началом войны. Перед нами проходят зарисовки жизни поэта, портреты встреченных им людей. Мы видим эволюцию его сознания. От несколько расплывчатых мыслей о всеобщем озверении в годину бедствий и о покорности как первопричине этих бедствий он переходит к убеждению в бессмысленности всякого труда, плоды которого либо оказываются противоположными целям, либо просто идут на смарку. Он задумывается о людях, уничтоженных ими же созданным государством; о вырождении и крушении идеалов, которые все еще кажутся ему светлыми. Он возводит торжество зла в ранг закона природы и в результате приходит к внутреннему краху: ощущению бесцельности, ненужности своего творчества не только для других, но и для себя самого. Заключительные стихи цикла рисуют эпоху безвременья, падения нравов и классические примеры типов, преуспевавших в такие эпохи (Талейран, Фуше). В следующих главах перед нами проходят люди. Мы узнаем о Грачевском, авторе большинства стихов, о реалиях, отразившихся в стихах. Мы видим, что став палачом, он обрек себя стать и жертвой: стукач убил в нем поэта. Перед нами проходят и другие люди, с которыми жизнь свела рассказчика, в том числе и такие, кто не поддавался разложению и до конца остался верен себе. Последняя глава подводит некий итог жизненного опыта рассказчика. Нелегко, но возможно нравственное сопротивление разложению и в жизни, и в искусстве. Лирический герой Сонета 66 противопоставлен лирическому герою стихов из первой главы. Цикл стихов, составляющих первую главу, и перевод Сонета 66, завершающий последнюю, образуют как бы рамку, а вместе с образом рассказчика - каркас, организующий весь материал в еди

Я особенно ценю именно это прочтение, но оно, понятно, не единственно возможное и далеко не исчерпывает всего, что можно сказать о "Повести". Например, комментарий к 6-й строке Сонета 66 отчетливо намечает тему, так сильно разработанную А. Кузнецовым в рассказе "Леди Гамильтон". Вам же я хочу сказать здесь о переводе Сонета 66.

Перевод Б. Пастернака, по-моему, и до сих пор остается лучшим из всех опубликованных. Но сопоставив его с оригиналом, мы сошлись во мнениях, что это на самом деле самостоятельный сонет на ту же тему, вполне

"пастернаковский", однако по силе существенно уступающий Шекспиру

/Повесть/.

, нетрудно убедиться, что у лирических героев Пастернака и Шекспира общего очень немного.

Измучась всем, я умереть хочу.

Тоска смотреть, как мается бедняк,

И как **шутя** живет**ся богачу,**

И доверять, и попадать впросак,

И **наблюдать**, как наглость лезет в свет,

И честь девичья катится ко дну,

И знать, что хода совершенствам нет,

И видеть мощь у немощи в плену,

И **вспоминать**, что мысли заткнут рот,

И разум сносит глупости хулу,

И прямодушье простотой слывет.

И **доброта** прислуживает злу.

Измучась всем, не стал бы жить и дня,

Да другу будет **трудно**

Утомленный всем этим, я взываю к **успокаивающей** смерти.

покинутость, достоинство) рожденного нищим,

И чистейшую веру, несчастливо обманутую ложной клятвой,

И позолоченную честь позорно изгнанную,

И девичье целомудрие грубо опроститученное,

И истинное совершенство ложно опозоренное,

И силу, обессиленную хромающей слабостью,

И пленное **добро,**

Утомленный всем этим от этого я бы ушел,

одиноким.

дняк "мается" лишь когда речь идет о том, что можно купить, а у Шекспира речь идет о тяжести моральной, одиночестве, и ни слова о богатстве (рожденный нищим мог и разбогатеть). Одно и то же слово desert означает и покинутость, и достоинство - это важная ассоциация. "Смотреть", "наблюдать", "вспоминать"- эти глаголы показывают, что герой Пастернака чувствует себя лишь пассивным зрителем. "Доброта" несравненно мельче "добра" и, главное, всегда остается самой собой, тогда как добро, прислуживающее злу, тем самым переходит в свою противоположность (мысль, характерная для Шекспира и ненавистная Льву Толстому). Заключительные строки возвращают к началу: другу будет у Шекспира "одиноким", а у Пастернака "трудно" - заест бедность, нужда, быт. Подтверждение - 4-я строка (жизненной катастрофе у Шекспира соответствует житейская неприятность у Пастернака) Скажу по секрету: наш перевод по смыслу и духу ближе к оригиналу. Т.Г. Гнедич считала, что он лучше, чем у Маршака. Толя это тоже признал. Потом его оттолкнула моя оценка перевода Пастернака: он воспринимал как кощунство мысль о возможности сравнивать его

перевод с нашим. Думаю, что перевод Пастернака был для него реализацией темы "маленького человека". Толя говорил, что эта тема в его творчестве может служить предметом серьезного исследования.

Бенедикт Сарнов. Виктор Каган и его книга^[12]

«Повесть о безвременье», открывающую эту книгу и безусловно являющуюся самым значительным из вошедших в нее произведений автора, я впервые прочел лет тридцать тому назад в журнале «Время и мы» (№ 56). Граница Советского Союза тогда была еще на замке, но журнал этот разными сложными путями как-то до меня дошел.

«Повесть» эта уже тогда произвела на меня сильное и глубокое впечатление. Не только жгучей остротой и яркой небанальностью сюжета, и даже не только несомненными своими художественными достоинствами.

В основе моего особого интереса к сюжету этой «Повести» лежал тот факт, что главный ее герой (лучше сказать – антигерой) был фигурой вполне реальной и - к тому же – хорошо мне известной.

Имя Юрия Грачевского я впервые услышал еще в годы своего студенчества. В Литературном институте, где я тогда учился (поступил в 1946-м, а закончил в 1951-м) оно произносилось часто. Как правило – вполголоса. И всегда – в определенном контексте, то сопровождаемое, а то и предваряемое сакраментальным определением «стукач», а иногда даже – и «provokator».

Определение это прилипало тогда ко многим. Но по отношению к другим подозреваемым в сотрудничестве с *органами* оно произносилось как-то не совсем твердо. Как правило, в тоне именно подозрения. На всякий случай, мол, остерегайтесь такого-то и не больно с ним откровенничайте. О Грачевском же это говорилось уверенно, как о несомненном, твердо установленном факте.

В «Повести» Виктора Кагана, помню, особенно впечатлила меня тогда такая подробность:

...не хотел думать о Грачевском плохо. Но "иллюзии гибнут, а факты остаются". В 1959 году я встретился в Москве с его - уже бывшей - женой Тамарой Андриевич, и она не только подтвердила мои худшие подозрения, но рассказала еще и о других жертвах доносов Грачевского. Тетка Тамары была арестована, и на следствии ей, как потом выяснилось, были инкриминированы высказывания, сделанные в его присутствии. Некто Марлен, которому Грачевский в присутствии Тамары читал свои стихи "и вообще разговаривал так, как, бывало, разговаривал только с вами", пришел к ней после долгого перерыва и рассказал, что был осужден по доносу Грачевского и в лагере встретил еще нескольких его "крестников". Встретив Грачевского в компании знакомых, Марлен ударил его по лицу. Их разняли. Марлен объяснил, в чем дело. Объяснение Грачевского, заявившего, будто Марлен - бывший любовник Тамары, было воспринято, как неуклюжее

вывирание застигнутого врасплох: естественно, чтобы в таком случае инициатором скандала был оскорбленный муж.

(Стр. 33 – 34)

«Некто Марлен» - это Марлен Кораллов, с которым я дружил на протяжении полувека. (Дружба эта не угасла до последнего его дня: он умер в декабре прошлого года на презентации моей книги «Феномен Солженицына»).

Как видите, некоторые события «Повести» Виктора Кагана происходили где-то поблизости от меня, а порою даже – совсем рядом.

Так что – судите сами: могла ли эта «Повесть» не пробудить у меня особый, личный интерес – и к ее герою, и к ее автору..

И вот, спустя тридцать лет я читаю ее вторично - в книге, недавно присланной мне автором из Иерусалима.

Тут сразу хочу сказать, что мой личный интерес к ее сюжету за минувшие годы не только не угас, но даже усилился, чему немало способствовало то обстоятельство, что в промежутке между первым и вторым ее чтением Юрий Грачевский однажды предстал передо мною уже не как персонаж некой, как принято нынче говорить, виртуальной реальности, а как живой человек, из плоти и крови.

Мы познакомились в Доме творчества в Малеевке. Познакомила нас тогдашняя его жена Лена Кривицкая, с которой мы были знакомы давно, но я не знал, что она замужем за Грачевским. И вот – узнал. Не могу забыть, как, знакомя нас, она испуганно на меня глядела, стараясь угадать, говорит ли мне что-нибудь фамилия ее нового мужа. Я сделал вид, что слышу ее впервые.

При других обстоятельствах, услышав его фамилию, я бы, наверно, постарался уклониться от этого знакомства. Во всяком случае, держался бы с ним подчеркнуто холодно, сразу дав ему понять, что мне всё про него известно. Но я не решился на это, потому что незадолго до того прочел «Повесть о безвременье» Виктора Кагана, из которой узнал его стихи.

Стихи эти меня поразили. Не только несомненной своей талантливостью и даже не только резко выраженной интонационной индивидуальностью, что тоже встречается не так уж часто, но прежде всего – не могу подобрать тут другого слова –столько же резко выразившимся в них *мировоззрением* автора.

Нет, все-таки лучше, наверно, тут употребить другое слово, пусть неуклюжее, но гораздо точнее выражающее то, что я хочу сказать: *мирочувствование*.

Это мирочувствование – не просто ему свойственное, а обретенное непростым жизненным опытом и глубоко им выстраданное, определяло и необычный для поэзии тех лет эмоциональный настрой этих стихов, и столь же необычную, как я уже об этом сказал, резко выраженную их интонационную определенность:

Ненавижу физический труд.

Вообще всякий труд ненавижу.

От работы лошади мрут.

Я в ней смысла не вижу.

Летом бревна таскай на плечах,
Чтоб зимой не топили.
Строй дома, чтобы завтра их в прах
Разбомбили...

Ничего хоть отдаленно похожего на это ни прочесть (даже в рукописи), ни услышать в стихах поэтов-современников мне не случилось. Да и не только современников. Разве вот только у Ходасевича:

Ни жить, ни петь почти не стоит:
В непрочной грубости живем.
Портной тачает, плотник строит:
Швы расползутся, рухнет дом.

Но даже у Ходасевича, которому Виктор Борисович Шкловский сказал однажды: «У вас чахотка, а вы не умираете, потому что в вашей крови палочки Коха дохнут», - даже у этого угрюмого, желчного мизантропа это полное отчаяния стихотворение завершается не то чтобы оптимистической, но все-таки обнадеживающей, светлой нотой:

И лишь порой сквозь это тленье
Вдруг умиленно слышу я
В нем заключенное биенье
Совсем иного бытия.
Так, провожая жизни скуку,
Любовно женщина кладет
Свою взволнованную руку
На грузно пухнувший живот.

В кромешную тьму стихотворения Грачевского не проникает даже такой крохотный лучик света. Оно как началось, так и завершается беспросветным мраком:

Видно, Бог для того, нас любя,
Дал нам силы,
Чтоб всю жизнь мы могли для себя
Рыть могилы.

То, что этим коротенькое стихотворением Грачевский вызвал у меня ассоциацию с Ходасевичем, - одним из самых крупных русских поэтов XX века, - уже само по себе говорило о многом. Но были и другие ассоциации, в своем роде не менее примечательные.

В этом смысле особенно тогда поразило меня такое же короткое его стихотворение, озаглавленное датой: **15 марта 1944 года**. В этот день состоялось первое публичное исполнение нового советского государственного гимна, которым был заменен «Интернационал». Не знаю, был ли Грачевский одним из свидетелей этого действия, или знал о нем по слухам, но вот как оно отразилось в том его стихотворении:

Был ли в зале кто-нибудь, кто понял
Всю трагичность этой пустоты?
Капельмейстер чуть ладонь приподнял,
Глянув вскользь на нотные листы,
И перед беспомощным оркестром

Зал, как полк, навтыяжку стоял.
Был ли в зале кто-нибудь, кто вместо
Нужных слов – другие повторял?
Был ли в зале кто-нибудь, кто видел,
Как сходились времени тиски?
Кто, как я, все это ненавидел?
Кто хотел не петь, а выть с тоски?

Короткое это стихотворение вызвало у меня прямую ассоциацию с написанным на ту же тему стихотворением Бориса Слуцкого:

Еще играли старый гимн
напротив места лобного,
Но шла работа над другим
заместо гимна ложного.
И я поехал на вокзал,
чтоб около полуночи
послушать, как транзитный зал,
как старики и юноши –
всех наций, возрастов, полов,
рабочие и служащие
недавно, не подняв голов,
один доклад прослушавшие, –
воспримут устаревший гимн;
ведь им уже объявлено,
что он заменится другим,
где многое исправлено.
Табачный дым над залом плыл,
клубился дым махорочный.
Матрос у стойки водку пил,
занюхивая корочкой.
И баба сразу два соска
двум близнецам тянула.
Не убирая рук с мешка,
старик дремал понуро.
И семечки на сапоги
лениво парни лускали.
И был исполнен старый гимн,
а пассажиры слушали.
Да только что в глазах прочтешь?
Глаза-то были сонными,
и разговор все был про то ж,
беседы шли сезонные:
про то, что март хороший был
и что апрель студеный.
Табачный дым над залом плыл –
обыденный, буденный.

Матрос еще стаканчик взял –
ничуть не поперхнулся.
А тот старик, что хмуро спал, –
от гимна не проснулся.
А баба, спрятав два соска
и не сходя со стула,
двоих младенцев в два платка
толково завернула.
А мат, который прозвучал,
неясно что обозначал.

Я написал, что два эти стихотворения написаны на одну и ту же тему, и читатель легко может тут поймать меня на ошибке. Ведь они – о разных событиях. Грачевский – о том, как гимн, в котором было сказано, что «никто не даст нам избавленья, ни Бог, ни царь и ни герой», сменился другим, в котором утверждалось прямо противоположное: «Нас вырастил Сталин на верность народу». А Слуцкий – о том, что случилось двенадцать лет спустя, когда было объявлено, что и этот, новый гимн уже устарел и должен быть заменен другим, в котором уже не будет никакого Сталина.

Да, ситуации, хоть и схожие, но – разные. Но по самой сути своей, по смыслу и по напряжению выплеснувшегося в них эмоционального настроения они – об одном и том же: о СЛОМЕ ЭПОХ. Современники еще не догадываются, что им выпало «посетить сей мир в его минуты роковые», и только поэту дано почувствовать и выразить, что вот сейчас, в этот самый момент, как гениально сформулировала это Ахматова, ПОГРЕБАЮТ ЭПОХУ:

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить её предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждёт!
И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идёт.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, –
Но матери сын не узнает,
И внук отвернётся в тоске...

Сперва Ходасевич. Потом - Слуцкий. Теперь вот - Ахматова... Вот с какими именами ассоциировались у меня стихи Юрия Грачевского.

Немудрено, что когда мне случилось встретиться и познакомиться с ним, у меня не достало духу хоть жестом, хоть взглядом, хоть на миг изменившимся выражением лица дать ему понять, что я ВСЁ ПРО НЕГО ЗНАЮ.

Но главным во всем этом было, конечно, не внешнее мое поведение, не простодушное неведение, какое я изо всех сил – успешно или безуспешно – старался изобразить, а внутреннее мое

состояние. То есть – истинное, подлинное мое отношение к этому человеку.

Оно и мне самому было не вполне ясно.

Так же, впрочем, как и автору «Повести о безвременье», из которой я всё это про него узнал.

Вот как он подступает к горестному изложению этого своего сюжета:

Одно из эссе, составляющих повесть Василия Гроссмана «Всё течет...» посвящено стукачам. Повторяя словно рефрен «не спешите бросать в него камень», автор рассуждает, какие причины вынуждали или побуждали людей разного типа стать стукачами...

Он был, конечно, прав: ни в кого нельзя спешить бросать камни. Это нужно делать лишь взвесив все «за» и «против» и полностью сознавая свою моральную ответственность.

Так вот, взвесив все «за» и «против», я бросаю камень в Грачевского.

(Стр. 35, 39)

Приговор как будто окончательный, и не то что пересмотру, но даже смягчению не подлежит. И жесткость этого приговора, казалось бы, не может не наложить свою печать и на отношение автора к стихам Грачевского, какими бы талантливыми они ему ни представлялись.

Так оно вроде и оказалось.

И сперва создается впечатление, что у него нет и не может быть на этот счет ни малейших сомнений:

Отсутствие моральных устоев лишало его опоры и в личной жизни, а в стихах оно обернулось изображением эпохи безвременья:

Каждое слово мое – название,
Каждая строчка – законченный сказ.
Мог бы продать за высокое звание
Честность мою и любовь без прикрас.
Мог бы продать свое имя и отчество
И не раскаяться в смертном грехе.
Мне же милей неподкупное творчество
В камере тесной, в тесном стихе...

Но продал и честность, и любовь, и творчество – и даже не за высокое звание. Осталось только имя и отчество, видно не нашлось покупателей...

(Стр. 44 – 45)

Но – тут же:

Он несомненно обладал незаурядным литературным дарованием, и очищающая сила творчества возвысила его стихи над фактами биографии...

(Стр. 44)

И вот – последний, окончательный вывод, вступающий в уже непримиримое противоречие с только что сказанным:

...Старые стихи Грачевского для меня живут независимой от него самостоятельной жизнью, я и теперь их люблю, ценю и продолжаю думать, что они были созданы настоящим поэтом... Часть из того, что сумел запомнить, я и поместил в свой рассказ.

Помню, зимой 1943/44 года Грачевский впервые прочитал мне и Тамаре сонет, только что написанный ко дню ее рождения.

Пускай все это временно, и я,
Большой поэт, загубленный судьбою,
И вся моя несчастная семья
Вернется в мир когда-нибудь со мною.
Пускай все это временно: война,
Голодный год и сумрак солдафонства.
Но ведь и жизнь нам временно дана.
Так неужели нужно только в тон с ней?
Так неужели за дешевый хлам,
Смотря на мир собачьими глазами,
Я, вырвавший себя у смерти, дам
Бессмертие мое на растерзанье?
Пускай все это временно, но стих
Окажется счастливей нас двоих.

Мы оба восприняли тогда заключительные строки как пророческие. И теперь мне бы хотелось, чтобы пророчество поэта сбылось и обнародование этого рассказа стало данью справедливости и "Чужим временам", и их автору.

(Стр. 46)

В моем случае этой цели автор "Повести о безвременье" достиг. Под впечатлением этой его «Повести» у меня сложилось такое же двойственное, как нынче принято говорить, амбивалентное отношение к фигуре Юрия Грачевского и его стихам, которые благодаря Виктору Кагану до меня дошли.

В восприятии этих стихов и их оценке я солидарен с автором «Повести». А в одном случае готов даже слегка зависить эту его высокую оценку.

Стихотворение, вызвавшее у меня такое желание, называется «Талейранам».

Вот оно:
Опять министры талейранят
Событиям наперекор.
Надменным взором вас таранит
Князь Талейран де Перигор.
Попробуй - не в ущерб престижу
Так свой котировать престиж,
Так умно изменять Парижу,

Чтоб не проигрывал Париж.
Предвидя задолго до склона
Крах ослепительных имен,
Сумей продать Наполеона,
Пока велик Наполеон...
Сумей - не для величья трона,
А для спасенья своего -
Так реставрировать Бурбона,
Чтоб свергнуть во-время его.
Не беспокоясь о морали,
Живи беспечней королей,
Чтоб через сотню лет сказали
О гениальности твоей.

Свое отношение к этому стихотворению Каган высказывает дважды. И оба раза - в одном и том же контексте и с одним и тем же - недвусмысленно отрицательным знаком.

Первый раз - в «Повести»:

А настоящие стихи отомстили ему, выдав его настоящий характер. Помню, я прочитал «Талейранам» моему лагерному товарищу, московскому писателю Д.М. Стонову. Он сразу сказал, что автор - «человек со всячинкой, от которого можно ожидать всего, чего угодно».

(Стр. 45)

И второй раз - в главе о Стонове:

Дмитрий Миронович считал, что о человеке можно безошибочно судить по тому, что он пишет. Прослушав стихи бывшего моего знакомого, он сказал:

- Это человек со всячинкой. От него можно ожидать всего, что угодно.

(Стр. 127)

Это, конечно, так. И всё, что мы узнали о Грачевском из «Повести» Кагана, как будто, только подтверждает проницательность и точность этого вывода.

Да, конечно, этот *гимн имморализму* разоблачает его автора. Но прийти исходя из этого к утверждению, что настоящие стихи Грачевского ему отомстили, можно было бы только в том случае, если бы моральное падение их автора повлекло за собой угасание и падение его поэтического дара. А в данном случае (особенно применительно к разбираемому стихотворению) всё вышло ровно наоборот.

Именно благодаря этому, так мощно тут проявившемуся его дару лирического самовыражения (в этом случае лучше даже сказать - *самообнажения*) он стал тем поэтом, каким стал, а это его стихотворение - таким ярким, звонким, ослепительно талантливым, каким оно у него получилось.

Об этом свойстве лирической поэзии - еще в позапрошлом веке - замечательно сказал Баратынский

Благословен святое возвестивший.
Но в глубине разврата не погиб
Какой-нибудь неправедный изгиб
Сердце людских пред нами обнаживший.

Наверно, это же имел в виду и Пушкин, когда в своих заметках на полях статьи Вяземского "О жизни и сочинениях В.А. Озерова", против слов автора статьи о том, что "обязанность всякого писателя есть согреть любовью к добродетели и воспалить ненавистью к пороку", написал: "Ничуть. Поэзия выше нравственности - или по крайней мере совсем иное дело".

Приступая к этому отклику на книгу Виктора Кагана, я собирался уделить равное внимание всем ее частям, разделам и главам. Но я не ожидал, что меня так глубоко затянет и так далеко уведет разбор его «Повести о безвременье». А поскольку разбор этот так затянулся, о других разделах и главах книги скажу совсем коротко и выборочно: только о том, что меня в ней особенно зацепило.

Как мне представляется, самое интересное и ценное в ней – воспоминания автора о людях, с которыми его сводила судьба. А судьба была в этом смысле к нему особенно щедра: сводила его с людьми выдающимися. Среди них – и те, чьи имена (громкие, и не очень) были мне хорошо известны: Н.В. Тимофеев-Рессовский, Яков Ильич Френкель, Анатолий Якобсон, Александр Исаевич Солженицын. И те, о ком я впервые узнал из этой книги: Дмитрий Стонов, П.Д. Кушников, Григорий Васильевич Яцко, Константин Дмитриевич Морозов. Но того, что сообщил мне о них на нескольких коротких страницах своей книги Виктор Каган, мне вполне хватило, чтобы убедиться, что и они были людьми необыкновенными.

Читая эти короткие мемуарные очерки, я мог только сожалеть, что они так коротки, что едва ли не каждый из них обрывается чуть ли не на полуслове.

Но по-настоящему не удовлетворил меня и даже вызвал довольно сильное разочарование лишь один из них: «Встречи с А.И. Солженицыным».

Вообще-то разочарование это вызвал даже не сам очерк, а отсутствие в нем постскриптума, который, на мой взгляд, непременно должен был там быть, но которого там не оказалось. Мне представлялось, что автор этой книги просто не имел права не высказать своего отношения к такому чудовищному саморазоблачению, каким стал солженицынский двухтомник «Двести лет вместе».

Читая эту книгу, я уже отметил для себя, что когда буду о ней писать, непременно выскажу автору этот упрек. Но оказалось, что я поторопился: отклик на этот постыдный солженицынский «труд» в книге Кагана есть. Просто он попал в другой ее раздел, где появился под другим заглавием: «Евреи и русские». Но – с подзаголовком: «Замечание о книге «Двести лет вместе».

Итак, постскриптум к своему мемуарному очерку о Солженицыне Каган все-таки написал, так что мои претензии к нему вроде оказались необоснованными.

Тем не менее – они остались. Мало того! Стали более глубокими и серьезными.

Оказалось, что один из наиболее задевших меня эпизодов солженицынского двухтомника и сделанных автором из этого эпизода далеко идущих выводов был откликом на одну – теперь уже давнишнюю, а тогда совсем недавнюю – статью (точнее – рецензию) Виктора Кагана:

Солженицын разбирает эпизод, приведенный в моей рецензии на книгу И. Дегена "Из дома рабства".

Когда в начале войны Ион Деген предложил Шулиму Даину вступить в комсомольский взвод, тот ответил, что сейчас сцепились насмерть два фашистских чудовища и было бы счастьем, если бы евреи могли следить за схваткой со стороны, что это не их война, хотя быть может именно она принесет им прозрение и поможет восстановить Израиль.

...Пробуждение Израиля в какой-то мере делает ее нашей. Когда меня призвуют, я пойду на войну. Но добровольно? - ни в коем случае...

...позицию Даина не понять иначе, как – расслабляющее чувство... двойного подданства –

считает Солженицын.

(Стр. 318 – 319)

С этим солженицынским выводом (к рассмотрению которого я еще вернусь) Каган не спорит. Но позицию Шулима Даина (точнее – его право на такую позицию) защищает:

...ведь почти все солдаты добровольцами не были, так почему Даин должен был им быть? Это личное дело каждого. Охотников «следить за схваткой со стороны» было немало во всех нациях (одних дезертиров сколько!), Даин от участия в войне не уклонился, пошел по призыву и погиб под Сталинградом. Поэтому нет оснований отделять его от тех, которые «не отделяли свою судьбу от русской».

(Там же. Стр. 319)

Возражение – предельно мягкое. А главное – **не по существу**.

Ведь самая суть (и подлость!) вывода, который делает Солженицын из частного высказывания одного еврейского юноши – как и самая суть и подлость всей этой его книги – не в том, что он отрицает право этого юноши думать и чувствовать так, как он думает и чувствует, а в том, что – он в этом уверен! – так думали, чувствовали, и поступали ВСЕ советские евреи. И не могли думать, чувствовать и поступать иначе, потому что ВСЕМ им – по самому факту рождения – присуще сознание *двойного подданства*.

Чтобы это мое обвинение не выглядело голословным, приведу соответствующее рассуждение Солженицына в его полном виде:

А вот недавно в израильской периодике притекло интересное свидетельство. Когда в начале войны Ион Деген захотел идти добровольцем в комсомольский взвод, то другой еврейский юноша, Шулим Даин, которого Ион звал с собой, ответил, – «что было бы счастьем, если бы евреи могли следить за схваткой со стороны, что это

не их война, хотя, быть может, именно она принесёт им прозрение и поможет восстановить Израиль. «Когда меня призовут на войну, я пойду на войну. Но добровольно? – ни в коем случае». И можно охватить, что не один же Дайн так думал, а особенно среди евреев постарше и с большим жизненным опытом. И такое настроение у евреев, особенно тех, что были преданы всевечной идее Израиля, можно вполне понять. Но всё же с недоуменной оговоркой: враг шёл – главный враг евреев, на уничтожение прежде всего евреев, – и как же мог Дайн и сходно мыслящие остаться нейтральными? а русским, мол, так и так защищать свою землю?

Современный комментатор (знаю его лично: фронтовик, потом зэк) заключает: «ни у кого из пожилых ветеранов войны уже в наши дни я не встречал такой ясности мысли и глубины понимания», как у Шулима Даина (потом погибшего под Сталинградом): «сцепились насмерть два фашистских чудовища», и что нам в том участвовать?

Да, сталинский режим не лучше гитлеровского. Но для евреев военного времени не могли эти чудовища быть равны! И если бы победило чудовище то – что б тогда, всё-таки, случилось с советскими евреями? Разве эта война не была для евреев и своей кровной, собственной Отечественной: скрестить оружие с самым страшным врагом всей еврейской истории?..

Упаси меня Бог, чтоб я объяснял позицию Даина какой-то «еврейской трусостью». Самобережливость и осторожность – у евреев сквозь всю историю рассеяния, да, – но той же историей и объясняются. А в Шестидневную и другие войны Израиля – они доказали своё выдающееся военное мужество.

И тогда позицию Даина не понять иначе, как – расслабляющее чувство того самого двойного подданства, которое рассматривал петроградский профессор Соломон Лурье в 1922 как объясняющий и один из главных источников антисемитизма: еврей, живущий в стране, принадлежит не только этой стране – и потому его чувства неизбежно дwoятся. Евреи «всегда были националистически настроены, но объектом этого национализма было еврейство, а не та страна, в которой евреи жили». Неполная заинтересованность в этой стране. Ведь впереди всегда – для многих неосознанно, а маячит – уже без сомнения свой Израиль.

(Александр Солженицын. Двести лет вместе)

Рассуждение вполне фашистское. И Солженицын – тут надо отдать ему должное – не особенно даже заботится о том, чтобы маскировать эту его фашистскую природу.

Трудность в том, что **ни в ту, ни в другую** сторону до конца сдвинуть этого вопроса нельзя: **большинство евреев и не уедет в Израиль** (когда отпадут нелепые, глупые нынешние ограничения) и не ассимилируются до конца (это для них – национальное самоубийство!) – они **желают** остаться непременно среди нас, но постоянно помня о своем двойном подданстве, двойной лояльности.

Говорят иногда: "да мы хотели бы забыть считать себя евреями, перестать отличать себя от русских". Это неискренне, это неправда. Они хотят считаться русскими, да, но главная боль и главная любовь у них будет все-таки – **Израиль и "мировой еврейский народ"**.

Это желание евреев "остаться непременно среди нас представляет - по Солженицыну - для России, для русских, смертельную опасность. Не потому, что евреи сознательно хотят ей (России) зла, а потому что такова их природа. Иначе они не могут, - даже если бы хотели.

Ведь и без мирового центра, и не сговариваясь нисколько, они отлично всегда понимали друг друга, действовали слаженно и однонаправленно. Замкнутое множество со своей отдельной сердечной болью, со своим ощущением **рода** выше, чем индивидуальности, общееврейского возвышения выше, чем своего собственного - ведь они не по дурному умыслу, не по заговору против нас, они просто **механически и физиологически** никогда не смогут отказаться от предпочтительной тайной взаимовыручки, которая **делает евреев как бы тайным обществом, подпольной партией.**

Выходит, хрен редьки не слаще. Есть ли мировой еврейский заговор и мировой еврейский центр, как сообщалось нам в "Протоколах сионских мудрецов", или нет такого центра и такого заговора, - всё это не имеет никакого значения.

Нет, если вдуматься в эту солженицынскую мысль, дело обстоит даже еще хуже, чем если бы такой заговор существовал. Хрен, оказывается, не только не слаще, а горше редьки. Если бы дело шло о сознательном заговоре, я, или, скажем, другой какой-нибудь русский еврей, мог бы из этого тайного общества, из этой подпольной партии выйти, заявив о своем несогласии с ними. А тут у меня - по определению - такого выхода нет и быть не может, поскольку предполагается, что я не сознательно примкнул к заговорщикам, а - механически и физиологически, то есть сам того не желая, к ним принадлежу[2].

Виктор Каган о постыдно и бесстыдно антисемитской книге Солженицына высказывается так:

Фундаментальный во многом спорный труд А.И. Солженицына безусловно заслуживает обстоятельного разбора компетентными и - главное - добросовестными и беспристрастными историками, социологами, психологами.

(Стр. 318)

Русскому националисту Солженицыну, стремящемуся своей книгой уменьшить обвинения русских в антисемитизме...

(Стр. 320)

Но может быть, это просто дань модной нынче на Западе так называемой *политкорректности*?

Может быть. Исключать это я не могу.

Но человек, живущий в Израиле, давно уже ставшем постоянной мишенью для нападков либерально настроенных западных интеллектуалов, казалось бы, лучше, чем я, должен знать, чего она стоит, эта пресловутая «политкорректность» и что за ней скрывается.

Тут - единственный пункт моего глубокого, принципиального расхождение с идейной позицией Виктора Кагана.

Во всем остальном мы с ним - полные единомышленники.

Примечания

1

Малолетка - заключенный моложе 18 лет. По советским законам к заключению можно приговорить начиная с 12 лет

2

Стихи обращены к дочери московского режиссера Игоря Терентьева, о котором говорили, что он "второй Мейерхольд" (Рита Райт сказала: "Он был обыкновенный гений") и который пропал без вести, как и первый Мейерхольд. "Зубр" - ранние стихи автора, имевшие успех у его друзей.

3

ГИХЛ - государственное издательство художественной литературы

4

[4] По этой директиве во время войны политические, окончившие срок, задерживались в лагере "до особого распоряжения" (ч. 1) либо оставлялись работать по вольному найму, жили за зоной, но уезжать никуда не имели права даже на короткий срок (ч. 2). Впрочем, знаю исключение: Л.Н. Гумилеву удалось завербоваться в армию и вернуться из под Туруханска в Ленинград через Берлин.

5

Хунвейбины - китайский аналог комсомольцев - громители культуры в годы "культурной революции". Так называли в 70-е годы оголтелых советских фанатиков.

6

Несколько лет спустя, уже "в кругу первом", я услышал от другого человека со сломанной моралью нечто очень похожее:- Если мне напакостили - все просто и ясно. Но если сделали что-то хорошее, то вот тут-то и надо держать уши топориком, потому что за этим обязательно скрывается какая-то подлость, которой я еще не разгадал.

7

Строки из сонета 4, написанного под впечатлением известия о самоубийстве брата Тамары. Отсюда "висельник в затянутой петле" и позднее, возможно, "висельника ворот" в "Правом берегу"

8

Талоны "Крупа" в продовольственных карточках в Молотовске тогда отоваривали горохом или фасолью.

9

После войны официально разъяснялось, будто они давались из личных денег Сталина - его литературных гонораров.

10

Л Лознер мне рассказал, что первым лауреатам (в том числе его родственнику) на самом деле дали лишь расписаться, а премии забрали в фонд государства. Но в газетах тогда об этом не было ни слова, и для непосвященных все выглядело так, как я здесь пишу.

11

ОСО - Особое совещание при наркоме внутренних дел - заочно приговаривало по делам, которые почему-либо было нежелательно передавать в суд.

12

Эта рецензия была написана на книгу В.Кагана "Воспоминания, статьи, рецензии", главную часть которой составляет "Повесть о безвременье". Остальные упомянутые в рецензии Сарнова произведения можно найти здесь: <https://sites.google.com/site/vkkagan/book> -
Примечание составителя. Остальные примечания принадлежат автору.